

АНДРЕ ЖИД

ПОДЗЕМЕЛЬЯ ВАТИКАНА

Часть сборника: Подземелья Ватикана. Фальшивомонетки (сборник)

Андре Жид

Подземелья Ватикана

«АСТ»

1914

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

Жид А.

Подземелья Ватикана / А. Жид — «АСТ», 1914

«Подземелья Ватикана» (1914) – самый необычный роман великого Андре Жида. Остроумная, полная озорного юмора история шайки мошенников-интеллектуалов, задумавших поистине гениальный способ «отъема денег у населения» – сбор средств на крестовый поход по освобождению несчастного папы римского, якобы похищенного масонами и заточенного в подземелья Ватикана.

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

© Жид А., 1914
© АСТ, 1914

Содержание

Подземелья Ватикана	6
Книга первая	7
Книга вторая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Андре Жид

Подземелья Ватикана; Фальшивомонетки

Andre Gide

LES CAVES DU VATICAN

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1914, 1925

© Перевод. Н. Зубков, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Андре Жид – один из величайших французских писателей XX века, предтеча авторов экзистенциалистской школы, тонкий психолог и блистательный мастер стилизации.

Его произведения, варьирующиеся от классического для французской прозы психологического реализма до философской параболы, и сейчас поражают удивительной жанровой и стилистической многогранностью.

Подземелья Ватикана

Жаку Копо

Кювервиль, 19 августа 1913 г.

Я с радостью надписываю Ваше имя на первой странице этой книги. Она была Вашей всегда – во всяком случае, с того времени, как стала обретать форму. Припоминаете ли Вы день, когда Вам я рассказывал о ней? Это было в Кювервиле такого-то года; дул сильный ветер, и мы шли в Этрета смотреть на прилив. Ваш любезный интерес к моему рассказу сильно ободрял меня все время, пока я его писал.

Первый замысел этой книги возник еще раньше. Вы напомнили мне: я Вам о ней говорил на другой день после того, как Вы возвратились из путешествия в Данию.

Сколько же лет-то прошло?..

Я знаю: в наши времена поспешной работы и недоношенных родов трудно мне будет кого-либо убедить, что я мог столь долго вынашивать в голове книгу, пока не решился ею разродиться.

Почему эту книгу назвал я «потешной повестью»? Почему три предыдущих – «рассказами»? Чтоб показать, что они, собственно говоря, не «романы».

Впрочем, это не важно: пускай за романы их примут, лишь бы только потом не пеняли мне, что я нарушил «законы жанра» – не указывали, к примеру, на неясности и беспорядок.

Рассказы, повести... Мне кажется, до сей поры я писал книги лишь *иронические* (или критические, коли Вам так больше по нраву), и эта из них, очевидно, последняя.

Я стою на том, что недостаток произведений нашего времени – их скороспелое появление, поспешность художника, не успевающего их выносить. Но не дай Аполлон мне судиться с эпохой! Кто недоволен – пускай кривится. Я говорю все это лишь для того, чтоб предупредить тех, которым в «Подземельях» будет угодно видеть какое-то уклоненье, отречение от прежнего, кто станет чертить кривую моего пути, выявлять эволюцию...

Меня же заботят вопросы лишь ремесла, и я стремлюсь только быть хорошим мастеровым.

Книга первая АНТИМ АРМАН-ДЮБУА

Что до меня, то я свой выбор сделал: я выступаю за социальный атеизм. Именно такой атеизм я полтора десятилетия развивал в ряде своих работ...

Жорж Палант.

Философская хроника «Меркюр де Франс».

Декабрь 1912 г.

I

Лета 1890-го, при понтификате Льва XIII, слава доктора Х., специалиста по лечению болезней ревматического происхождения, разнесшись, призвала в Рим Антима Армана-Дюбуа, франкмасона.

— Что же это? — восклицал Жюльюс де Барайуль, свояк его. — Вы затем отправляетесь в Рим, чтоб исцелить свое тело? Если бы только вы смогли там познать, кольми паче больна душа ваша!

На что отвечал Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием:

— Бедный друг мой, посмотрите же на мои плечи.

Барайуль, человек благодушный, невольно переводил взгляд на плечи родственника; они подрагивали, будто вздымаясь от смеха утробного, неудержимого, и, верно, велика была жалость зреть, как это пространное, полупараличное тело в таких глумливых движениях исходит остатками мускульных сил своих. Что ж! Каждый на своем они стояли прочно, и красноречие Барайуля ничего изменить не могло. Может, изменит время? Таинственное действие места святого? Не скрывая безмерного разочарования, Жюльюс отвечал лишь одно:

— Антим, вы меня весьма огорчаете. (Плечи тотчас же прекращали пляску, ибо Антим свояка любил.) Если бы только через три года, когда я приеду к вам на торжества юбилея, — если бы только я мог обрести вас тогда в покаянии!

Вероника, нужно сказать, сопровождала супруга совсем с иными намереньями: она была столь же набожна, как и сестра ее Маргарита, как и Жюльюс, и долгое пребывание в Риме отвечало одному из самых ее сокровенных желаний; она обставляла мелкими привычками благочестия свою монотонную, разочарованную жизнь и, неплодна будучи, окружала свой идеал тем попечением, какого не требовалось от нее для детей. Увы! Она уже не имела надежды привести к Богу своего Антима. Она давно знала, сколь упрям может быть этот огромный мозг, как заперт в своем отрицании. Аббат Флонс ей так и говорил: «Нет непреклонней решений, сударыня, чем дурные решения. Теперь надейтесь только на чудо».

И даже огорчаться она уже перестала. С первых же дней, как супруги устроились в Риме, каждый из них сам для себя устроил свою одинокую жизнь: Вероника — в хозяйственных хлопотах и церковных обрядах, Антим — в научных трудах. Жили рядом друг с другом и против друг друга, друг с другом мирясь, повернувшись друг к другу спиной. Этому благодаря воцарилось меж ними какого-то рода согласие, витало над ними какого-то рода полублаженство, и каждый из них, поддерживая другого, в том находил скромное применение собственной своей добродетели.

Как и в большинстве итальянских жилищ, в их квартире, нанятой через агентство, неожиданные удобства сочетались с приметными недостатками. Она занимала весь бель-

этаж палаццо Форджетти на виа ин Лючина; в ней была очень хорошая терраса, где Вероника сразу решила разводить аспидистры, столь плохо растущие в парижских квартирах, — но, чтобы попасть на террасу, непременно было нужно пройти через оранжерею, которую Антим сразу сделал своей лабораторией. Договорились, что он разрешает проход с такого-то по такой-то час.

Вероника отворяла бесшумно дверь и пробегала затем торопливо, глаза опустив долу, как молодой монах проходит мимо бесстыдных картинок на стенах, ибо ей было противно видеть, как в самом дальнем углу, возвышаясь над креслом с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима склонялась над неизвестно каким недобрым делом. Антим, со своей стороны, старался никак не подать вида, что слышит ее. Но как только она проходила назад, тяжело поднимался с сиденья, ковылял до двери и, полон злобы, губы поджав, властным движением пальца толкал дверную задвижку — щелк!

Скоро затем наступало время, когда через другую дверь Беппо — парнишка на побегушках — приходил спросить, какие будут распоряжения.

Уличного оборванца лет двенадцати или тринадцати, без родителей и без крова, Антим заметил через несколько дней после приезда в Рим. Беппо сидел против гостиницы на виа Бокка ди Леоне, где супруги остановились на первое время, и пытался привлечь внимание прохожих цикадой, жившей у него на пучке травы в коробочке из камыша. Антим дал парнишке за насекомое десять сольдо и, зная по-итальянски лишь пару слов, кое-как объяснил, что завтра переезжает в квартиру на виа ин Лючина, и тогда ему понадобится несколько крыс. Все, что плавает, ползает, бежит и летает, служило ему материалом: он работал с плотью живой.

Прирожденный добытчик, Беппо достал бы ему и орла или волчицу Капитолийскую. Ему нравилась такая работа: он всегда любил что-нибудь стибрить. Платили ему десять сольдо в день; помогал он и по хозяйству. Вероника сначала смотрела на него косо, но, увидев раз, как мальчишка перекрестился, проходя мимо Мадонны на северном углу их дома, она простила ему лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, растопку; носил он даже корзинку, когда провожал Веронику на рынок по вторникам и по пятницам: в эти дни у горничной Каролины, приехавшей вместе с супругами из Парижа, было слишком много хлопот в самом доме.

Вероника не нравилась Беппо, но в ученого мальчик прямо влюбился. Вскоре тот уже не спускался, мучась, во двор забрать доставленных жертв, а позволял парнишке самому являться в лабораторию. Туда проходили прямо с террасы, на которую со двора вела потайная лестница. Чуть сильнее начинало биться сердце Антима в его нерушимом уединенье, когда он слышал негромкий стук босых пяточек по камням. В окно Антим не глядел: от работы его не отрывало ничто.

В застекленную дверь мальчик не стучался, а скребся; Антим, не отвечая, продолжал сидеть, сгорбленный, за столом, и тогда Беппо ступал на четыре шажка и ясным голоском ронял «permesso?»¹, наполнявшее всю комнату лазурью. По голосу приняли бы его за ангела, был же он подручным палача. Он клал на стол мешок — что за новую жертву в нем приносил он? Часто Антим, чересчур поглощенный работой, мешок открывал не сразу, а лишь мельком глядел на него; вздрагивал холст — там могла сидеть и крыса, и мышь; лягушка, воробышек — Молоху все было впрок. Иногда Беппо не приносил ничего и все равно приходил: он знал, что Арман-Дюбуа ждет его и с пустыми руками; и когда мальчик молча склонялся рядом с ученым над каким-нибудь жутким опытом — желал бы я быть уверен, что физиолог не

¹ Позвольте? (ит.)

наслаждался тщеславной радостью мнимого бога, видя, как вперяется взгляд ребенка то, с ужасом, в бедную живность, то, с восхищением, – в него самого!

Чтобы в дальнейшем напасть на самого человека, Антим Арман-Дюбуа пока что хотел лишь просто свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Не успели изобрести это слово, как никакого другого уже и не понимали; целый разряд психологов теперь признавал лишь «тропизмы». Тропизмы! Какой неожиданный свет воссиял из этих звуков! Было ясно, что организм уступает тому же влечению, что и подсолнечник, когда лишенное воли растение поворачивается лицом к солнцу (что легко сводится к простым законам физики и термохимии). Отныне мир сей получал утешительный дар успокоения. В самых неожиданных движениях существа стало возможным просто признать безусловное послушание движителю.

Чтобы достичь своей цели, чтобы от укрощенной живности добиться признания в простоте поведения, Антим Арман-Дюбуа изобрел сложную систему коробочек с коридорами, лесенками, лабиринтами, отсеками, где в одних лежала еда, в других ничего или какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами разного цвета и формы – дьявольский инструмент, вскоре прогремевший в Германии и под именем *Vexierkasten*² ставший на службу новой психофизиологической школе, сделавшей новый шаг на путях безбожия. А чтобы действовать на то или иное чувство, тот или иной отдел мозга животного отдельно, он тех ослеплял, иных оглушал, кастрировал, декортикировал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы сочли бы необходимым, но без которого тварь могла обойтись для Антимовых целей познания.

Его «Сообщение об условных рефlekсах» перевернуло Упсальский университет; начались жесточайшие дискуссии, в которых принял участие весь цвет иностранной науки. Но в уме Антима уже взметались новые вопросы – и он, предоставив споры коллегам, повел изыскания на иных путях, надеясь выбить Бога из самых потаенных укреплений.

Ему не довольно было признать *grosso modo*³, что всякая жизненная активность приводит к износу, что животное тратит силы уже одним применением мускулов. Всякий раз он спрашивал: сколько потрачено? А когда изнуренный предмет его опытов желал свои силы восстановить, Антим его не кормил, но взвешивал. Дополнительные условия чересчур усложнили бы эксперимент, а был он таков: шесть крыс, голодающих и связанных, подвергались ежедневному взвешиванию – две слепых, две кривых и две зрячих; зрению двух последних непрерывно мешала маленькая механическая мельничка. В каком отношении находилась потеря их веса после пяти дней голодовки? С торжеством добавлял Антим Арман-Дюбуа каждый день, ровно в полдень, новые цифры в заведенные для того специально таблички.

II

Юбилей начинался уже совсем скоро. Супруги Арман-Дюбуа ожидали Барайулей со дня на день. Утром пришла телеграмма с известием, что приедут они под вечер, и Антим вышел из дома купить себе галстук.

Выходил Антим редко – как можно реже: ему было трудно двигаться; Вероника все для него с удовольствием покупала, а шили у портных на заказ, приглашая на дом снять мерку. За модой Антим следить уже перестал, но хотя галстук ему был нужен самый простой (скромная ленточка черного шелка), он желал его выбрать сам. В дорогу он купил и в гостинице носил манишку из кармелитского сатина, однако она постоянно выбивалась из-

² Обманных шкатулок (нем.).

³ В общих чертах (лат.).

под жилета, который Антим привык глубоко расстегивать; сменивший ее кремовый шейный платок Маргарита де Барайуль, несомненно, найдет неряшливым. Напрасно он изменил маленьким черным ленточкам, которые носил обыкновенно в Париже, и совсем зря не сохранил ни одной для образца. А здесь какой ему предложат фасон? Он не мог решиться, не обойдя несколько магазинов на Корсо и виа деи Кондотти. Бант был бы излишней вольностью для пятидесятилетнего человека; нет, конечно, – пойдет лишь лента с прямым узлом, черная, совершенно матовая...

Обедали только в час дня. К полудню Антим вернулся с покупкой – он успел к взвешиванию крыс.

Щеголем Антим вовсе не был, но испытал потребность примерить свой галстук, а потом уже сесть за работу. Осколок зеркала, служивший некогда для того, чтоб вызывать тропизмы, лежал на столе; Антим приставил его к клетке и склонился над собственным отражением.

Он носил до сих пор еще не поредевшие волосы бобриком – некогда рыжие, теперь же того неясного серовато-желтого цвета, какой появляется у старых вещей позолоченного серебра; над глазами его, серее и холоднее зимнего неба, брови торчали густыми кустами; бакенбарды, маленькие, коротко стриженные, были все еще рыжевато-желтого цвета, как и неухоженные усы. Антим провел рукой по впалым щекам, по широкому квадратному подбородку.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, – побреюсь потом.

Он достал галстук из пакета, положил перед собой, вытащил булавку с камеей, снял платок. Его тяжелый затылок был окружен полувысоким воротничком, спереди открытым; кончики его Антим опускал. Здесь, при всем моем желании говорить только о самом главном, я не могу умолчать о шишке на шее Антима Армана-Дюбуа. Ибо что я могу требовать от своего пера, кроме точности и строгости, пока не приобрету умения надежно различать второстепенное и существенное? И кто может утверждать, что эта шишка не сыграла никакой роли, не имела никакого веса в том, что Антим именвал своей «свободной» мыслью? Ишиас свой он бы, пожалуй, Богу еще простил, но вот этой пошлости простить не мог.

Шишка у него появилась, он не знал отчего, вскоре после женитьбы: сначала только чуть правей и ниже левого уха, там, где начинают расти волосы, – какой-то безобидный узелок; он рос, но Антим еще долго мог скрывать его под густой шевелюрой, начесывая кудри на шею; даже Вероника не замечала его, пока однажды ночью, лаская мужа, рукой на него не наткнулась и не вскрикнула:

– Ой, что это там у тебя?

И опухоль, словно утратив причину скрываться после разоблачения, уже через несколько месяцев сравнялась величиной сначала с перепелиным яйцом, потом с цесаркиным, потом с куриным, и такой оставалась, а волосы вокруг между тем редели и выставляли ее напоказ. В сорок шесть лет Антиму Арману-Дюбуа было уже ни к чему производить впечатление; он коротко подстригся и стал носить полувысокие воротнички такого фасона, где нечто вроде ячейки и скрывало, и выявляло шишку. На том довольно о шишке Антима.

Он обернул вокруг шеи галстук. Посередине, через узкий металлический проход, должна была проскользнуть вспомогательная ленточка, которую готовился подцепить крючок рычажка. Устройство хитроумное, но как только оно цеплялось за ленточку – сам галстук соскальзывал, падал опять на лабораторный стол. Пришлось на помощь призвать Веронику; она прибежала бегом.

– На, пришей, – сказал Антим.

– Завяжи машинкой, это ж такой пустяк, – тихонько ответила она.

– А на деле, оказалось, не держит.

У Вероники всегда под домашней кофтой, у левой груди, были приколоты две иголки со вдетыми нитками: черной и белой. Даже не присев, прямо у балконной двери она стала

пришивать ленточку. Антим глядел на нее. Она была довольно грузной, с крупными чертами лица; так же упряма, как и он сам, но, в общем, довольно мила, почти всегда улыбалась, так что даже небольшие усики не делали ее лицо слишком грубым.

«Что-то в ней есть, – думал Антим, глядя, как она тянет иголку. – Мог бы я жениться и на другой: могла быть кокетка, и обманывала бы меня; могла быть ветреница, и бросила бы; могла быть болтушка – все уши бы прожужжала, или глупая курица – я бы с катушек слетел, или брюзга, как свояченица моя...»

И не так сурово, как обыкновенно, сказал он «спасибо», когда Вероника, закончив работу, ушла.

Теперь новый галстук повязан Антиму на шею, и ученый весь предан своим мыслям. Ни один голос больше не звучит для него ни снаружи, ни в сердце. Вот он уже взвесил слепых крыс. Что дальше? Крысы кривые – без перемен. Теперь надо взвесить зрячую пару. И тут он так поражен, что костыль падает на пол. Что такое! Зрячие крысы... он взвешивает их снова – но нет, никакого сомненья: со вчерашнего дня зрячие крысы *прибавили в весе!* Вдруг его озарило:

– Вероника!

С великим усилием он подбирает костыль и бросается к двери:

– Вероника!

Она услужливо подбегает опять. А он, на пороге стоя, величественно вопрошает:

– Кто трогал моих крыс?

Нет ответа. Он повторяет медленно, делая паузы между словами, как если бы Вероника забыла французский язык:

– Пока меня не было, кто-то им дал поесть. Уж не вы ли?

И тогда она, приободрясь, обращается к нему чуть ли не с вызовом:

– Ты морил бедных зверушек голодом. Я вовсе не мешала твоему опыту – просто...

Но он хватается за рукав и, хромая, подводит к столу – показывает таблицы результатов:

– Видите эти листки? Две недели я сюда заносу итоги моих наблюдений; именно их ждет от меня коллега Потье, чтобы доложить на заседании Академии наук 17 мая. Сегодня у нас 15 апреля: как я продолжу эти столбики цифр? Что напишу?

Она не проронила ни слова, и тогда он, словно кинжалом, коротким пальцем царапая неисписанную страницу, продолжает:

– Сегодня госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, слушая лишь свое нежное сердце, допустила... какое мне слово употребить? Неосторожность? Неловкость? Глупость?

– Напишите, пожалуй: пожалела несчастных зверушек, жертв безжалостного любопытства.

Он с великим достоинством выпрямляется:

– Если так вы к этому относитесь, сударыня, то поймете, почему отныне я вынужден просить вас для ухода за вашими растениями подниматься по лестнице со двора.

– Думаете, я хоть раз заходила к вам в логово для собственного удовольствия?

– Так избавьте себя от неудовольствия заходить сюда впредь.

И, подкрепляя эти слова красноречивым жестом, он хватается за два листка с записями наблюдений и рвет их в клочки.

«Две недели», сказал он; по правде, крысы его голодали только четыре дня. Именно от преувеличения проступка угасло, должно быть, его раздражение: только сел он за стол, лицо его уже прояснилось; у него хватило даже философичности протянуть супруге десницу примирения. Ведь он еще более, нежели Вероника, не желает, чтоб благомыслящая чета Барай-уль заметила их несогласия, вину за них во мненье своем непременно возложив на Антима.

В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и идет встречать Жюльюса и Маргариту: они прибывали на вокзал Рима в шесть. Антим идет бриться; шейный платок он по доброй воле заменил лентой с прямым узлом: этого должно быть довольно; он терпеть не может церемоний и ради свояченицы не уронит в своих глазах альпаковую куртку, белый жилет с синим узором, тиковые панталоны и удобные черные кожаные домашние туфли без каблуков, которые надевал он даже на улицу: хромота его извиняла.

Он подбирает разорванные листки, складывает клочок к клочку и, пока не приехали Барайули, тщательно переписывает все цифры.

III

Род Барайулей (итальянское «ль» в этом слове по-французски читается «й»), так же как титул герцогов Брельо читают «де Бройль») происходит из Пармы. За одного из Баральоли, а именно Алессандро, в 1514 году, вскоре после присоединения герцогства к Папскому государству, вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти. Другой Баральоли, тоже Алессандро, отличился в битве при Лепанто, а в 1580 году был убит при загадочных до сих пор обстоятельствах. Не трудно, но не слишком интересно, было бы проследить судьбу этой фамилии до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и Робер де Барайуль, дед Жюльюса, поселился в По. В 1828 году он получил от Карла X графскую корону; позднее Жюст-Аженор, его третий сын (два первых умерли во младенчестве), с достоинством носил эту корону в должности посла, где блистал его тонкий ум и одерживало победы дипломатическое искусство.

Жюльюс, второй ребенок Жюста-Аженора де Барайуля, после женитьбы жил вполне степенно, в юности же знал иногда и сильные страсти, но мог, как бы то ни было, сказать о себе по всей справедливости, что сердце его никогда не падало низко. Глубоко вкорененное благородство натуры и особенное изящество, которым дышали его самые мимолетные писания, всегда удерживали его возжелания на краю наклонной плоскости, куда любопытство романиста, без сомненья, пустило бы их во весь опор. Кровь его в жилах текла без завихрений, но не была холодна: несколько великосветских красавиц тому быть могут свидетельницами... И я бы вовсе об этом не упомянул, если бы его первые романы не давали бы это достаточно ясно понять, чему отчасти и были обязаны громким успехом в свете. Благодаря высокому положению читателей, которые способны были ими восхищаться, появились они – первый в «Корреспондан», два других – в «Ревю де дё монд». Вот так, словно бы поневоле, Жюльюс Барайуль еще совсем молодым увидел себя у врат академии – да и статность, важный взгляд с поволокой, задумчивая бледность на челе словно предназначали его для места с бессмертными.

Антим исповедовал величайшее презрение к тому, чтобы выделяться положением в обществе, богатством, внешностью, – Жюльюса эти заботы мучили беспрестанно. Однако ученому нравились в нем некое добродушие и крайнее неумение спорить, которое часто приносило свободной мысли победу.

В шесть часов Антим слышит: экипаж гостей останавливается у подъезда. Он выходит встретить их у входа. Жюльюс поднимается на крыльцо первым. Цилиндр кронштадт, прямое пальто с шелковыми отворотами – можно подумать, он одет для визита, а не по дорожному, не будь на руке у него шотландского пледа; долгий путь нимало на нем не сказался. Следом под руку с сестрой идет Маргарита де Барайуль – весьма, напротив, помятая: капот и шиньон сбились на сторону, на крыльцо она поднимается, покачиваясь, половина

лица закрыта прижатым к лицу носовым платком... Подойдя к Антиму, Вероника шепчет тихонько:

– Маргарите в глаз попал уголек.

Дочка Барайулей Жюли, грациозная девятилетняя девочка, и горничная идут сзади в полнейшем молчании.

У Маргариты характер такой, что к подобным вещам с легкомыслием не отнесешься. Антим предлагает послать за глазным врачом, но Маргарите известна молва, каковы коновалы в Италии; она ни за что и слышать об этом не хочет; произносит умирающим голосом:

– Холодной воды... просто немного холодной воды... Ах!

– Дорогая сестрица, – отвечает Антим, – на минутку холодная вода вам действительно принесет облегчение, ослабив приток крови к вашему глазу, но от недуга не избавит.

Он поворачивается к Жюльюсу:

– А вы заметили, что это было?

– Пожалуй, нет. Когда поезд остановился, я предложил посмотреть, но Маргарита нервничалась...

– Что ты говоришь такое, Жюльюс! Ты был страшно неловок! Стал поднимать мне веко так, что чуть все ресницы не выдернул...

– Не позволите ли мне попробовать? – говорит Антим. – Может быть, у меня лучше получится...

Факкино поднес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.

– Но послушай, друг мой, не в коридоре же ты будешь делать эту операцию, – замечает Вероника и ведет Барайулей к ним в комнату.

Квартира Арманов-Дюбуа распространялась вокруг внутреннего двора; окна во двор освещали коридор, что вел из прихожей в оранжерею. В этот же коридор выходили двери сперва из столовой, потом из гостиной (огромной, плохо обставленной угловой комнаты, которой Антим с супругой не пользовались), затем из двух смежных комнат, приготовленных одна для супругов, другая, маленькая, для Жюли, рядом со спальней четы Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты сообщались также и между собой. Кухня и два помещения для прислуги находились по другую сторону от подъезда.

– Не собирайтесь все вокруг меня, прошу вас, – стонет Маргарита. – Жюльюс, распакуй же вещи...

Вероника усадила сестру в кресло и взяла лампу. Антим взгляделся:

– Действительно, глаз воспален. Не снимете ли шляпку?

Но Маргарита, боясь, должно быть, как бы растрепанная прическа не обнаружила своих искусственных составляющих, сказала: нет, не сейчас. Шляпка без полей с завязками не помешает ей опереться затылком на изголовье.

– Так вы меня просите вынуть сучок из вашего глаза, а бревно из моего вынуть не даете, – сказал Антим с каким-то хихиканьем. – Кажется, в Евангелии заповедано как раз обратное!

– О, прошу вас, не заставляйте меня слишком дорого платить за ваши услуги!

– Молчу, молчу... Берем чистый платок... вот так, уголочком... вижу, вижу, что там... да не бойтесь, черт вас возьми! Смотрите в небо! Вот и все.

Уголком носового платка Антим вытаскивает крохотную соринку.

– Благодарю, благодарю! Теперь оставьте меня. У меня ужасная мигрень...

Маргарита теперь отдыхает, Жюльюс вместе с горничной возится с чемоданами, Вероника смотрит за приготовлением ужина, Антим же болтает с Жюли.

Он провел ее к себе в комнату. Арман-Дюбуа уехал, когда племянница была еще совсем крохой, и теперь едва узнает эту большую девочку – ее наивная улыбка уже серьезна. Они беседуют о всяких пустяках, которые, по мнению Антима, должны быть приятны ребенку, и

вот его взгляд задерживается на серебряной тонкой цепочке у нее на шее. Он понимает: там, должно быть, висят образки. Беззастенчивым движением толстого пальца он выдергивает их наружу и, пряча болезненное отвращение под маской недоумения, говорит:

– А это что за штучки-дрючки?

Жюли прекрасно понимает, что он не всерьез спросил, но к чему ей сердиться?

– Как, дядя Антим, вы никогда не видели образков?

– Право слово, не видел, малышка, – лжет он. – И не особо красивые – значит, должно быть, они зачем-то нужны?

А девочка – ведь чистая вера не пугается невинных шуток – пальчиком показала на свою фотографию над каминным зеркалом и ответила:

– А вот у вас, дядюшка, висит на картинке девочка, тоже не особо красивая; зачем она вам нужна?

Не ожидал дядя Антим, что лукавая святоша не полезет за словом в карман, что у нее столько бесспорного здравого смысла!

На миг он оторопел – не заводить же с девятилетним ребенком метафизический спор. Улыбнулся. Девочка, тотчас же поняв, что перевес за ней, начинает показывать освященные медальончики:

– Вот мученица Юлия, моя святая; а это святое сердце Гос...

– А самого Господа Бога у тебя нет? – глупо перебивает ее Антим.

– Нет, его самого не делают... А вот самый хороший: Божья Матерь Лурдская, мне ее подарила тетя Лилиссуар; она ее из самого Лурда привезла, а я надела в тот день, когда папа с мамой меня посвятили Богородице...

Этого Антиму уже не перенести. Даже не дав себе труда представить, сколь неотразимо прелестно майское шествие детишек в белом и голубом, он не может удержаться от маниакальной потребности в богохульстве:

– Значит, не очень ты нужна Богородице, раз до сих пор тут, с нами?

Девочка не отвечает. Может быть, уже понимает, что на иное нахальство лучше не отвечать ничего? Но что это? Нелепый вопрос покраснеть заставил не Жюли, а масона; его легкое смущение – тайный спутник чувства неприличия; дядюшка прячет минутное замешательство, запечатлев на лбу племянницы примирительный поцелуй.

– А вы почему так сердитесь, дядя Антим?

Девочка все поняла: у этого безбожника-ученого доброе, в сущности, сердце.

А если так, что ж он упорствует?

В этот момент Адель открывает дверь:

– Барышня, вас мамаша зовет.

Маргарита де Барайуль явно боится влияния своего зятя и очень не хочет, чтоб дочь оставалась с ним долго. Это он и осмелится ей чуть позже заметить на ухо во время семейного ужина. Но Маргарита глядит на Антима еще немного воспаленными глазами:

– Я вас боюсь? Но, дорогой друг мой, Жюли могла бы привести к Богу дюжину вам подобных, прежде чем ваши насмешки коснулись ее души. Нет-нет, нас, церковных людей, так легко не пронять. И все же имейте в виду, что это еще ребенок. Она знает, каких богохульств можно ждать во времена столь испорченные, как наши, в стране, которой управляют так же постыдно, как нашей. Но очень жаль, что первый соблазн к ней приходит через вас, дядю ее, к которому мы бы хотели ее воспитать в почтении...

IV

Эти слова, столь взвешенные и разумные, смогут ли успокоить Антима?

Да, на первые две перемены (впрочем, ужин, вкусный, но простой, всего из трех блюд и был), покуда родственный разговор не касается заковыристых тем. Поговорили сначала о медицине в связи с Маргаритиным глазом (и Барайули сделали вид, будто не замечают, что шишка Антима выросла), потом об итальянской кухне из любезности к Веронике – с намеком на то, как прекрасно у нее готовят. Потом Антим спросил, как дела у Лилиссуаров, с которыми Барайули встречались недавно в По, и у графини Валентины де Сен-При, сестры Жюльюса, у которой возле По имение; наконец, осведомился о Женевьеве, очаровательной старшей дочери Барайулей – они бы ее с удовольствием взяли с собой в Рим, но она решительно не желала оставить больницу Страждущих Младенцев: каждый день она ходит туда, на улицу Севр, перевязывать язвы несчастным детишкам. Потом Жюльюс поднял важный вопрос об отчуждении имущества Антима, а именно земли, которую ученый купил в Египте, когда еще в молодости в первый раз побывал там. Эта земля была расположена неудобно и до последнего времени не имела почти никакой цены, однако недавно встал вопрос, не пройдет ли через нее железная дорога из Каира в Гелиополис; без сомнения, кошелек Арманов-Дюбуа, сильно похудевшему в рискованных спекуляциях, очень была бы кстати такая удача, но Жюльюс незадолго до поездки имел случай поговорить с Манитоном – инженером-экспертом проекта новой линии – и посоветовал свояку не возлагать на нее особенно серьезных надежд: все это может оказаться и пшиком. Но Антим кое-чего не сказал: дело это в руках Ложи, а она своих не бросает.

Затем Антим заговорил с Жюльюсом о выборах в академию, о шансах его; он говорит об этом с улыбкой, ибо совсем не верит в избрание, да и сам Жюльюс безразлично-спокоен и словно бы отстранен: к чему рассказывать, что у его сестры, вдовы графа Ги де Сен-При, в руках кардинал Андре и, стало быть, пятнадцать бессмертных, всегда голосующих заодно с кардиналом? Антим мимоходом и слегка хвалит последний роман Барайуля «Воздух вершин». На самом деле книга показалась ему отвратительной, и Жюльюс, который прекрасно все понимает, спешит возразить, чтобы не уронить самолюбия:

– А я полагал, что такая книга понравиться вам не может.

С книгой Антим еще, пожалуй, смирился бы, но вот намек на убеждения уколол его; он заявляет в ответ, что эти взгляды никак не касаются суждений, которые он выносит об искусстве вообще, а в частности о произведениях своего родича. Жюльюс улыбается примирительно и снисходительно; желая переменить тему, он спрашивает свояка о том, как себя ведет его ревматизм, и по ошибке произносит «люмбаго». Ах, лучше бы Жюльюс поинтересовался его научными опытами! Тогда Антиму было бы что ответить. Люмбаго! Так и до шишки его дойдет! Но про научные опыты свояка Барайуль ничего не знает: ему спокойней про них ничего не знать... Антим, уже готовый вскипеть и особенно больно задетый «люмбаго», усмехается и отвечает сердито:

– Как я себя чувствую? Ха-ха-ха! Если бы лучше, вы бы очень этому огорчились!

Изумленный Жюльюс просит свояка объяснить, чему он обязан, что ему приписывают такие немилосердные чувства.

– Черт побери! Когда кто-то из ваших хворает, вы тоже прекрасно умеете вызвать врача, но когда исцеляются ваши болезни – медицина тут ни при чем: все дело в молитвах, которые вы читали, пока врач вас лечил. А если выздоравливает тот, кто в церковь не ходит, это же, черт побери, нахальство с его стороны!

– Так вам лучше хворать, лишь бы не молиться? – прочувствованно говорит Маргарита.

Ну куда она лезет? Обычно никогда не участвует в разговорах на общие темы и всегда тушется, как только рот открывает Жюльюс. У них мужской разговор, к черту все церемонии! Антим резко оборачивается к ней:

– Милейшая моя, знайте, что если бы исцеление находилось вот тут – понимаете, тут, – он остервенело тычет пальцем в солонку, – то мне, чтоб получить на него право, нужно было

бы умолять об этом Господина Начальника (в дурном настроении так зовет он из озорства Верховное Существо), а не то просить его вмешаться, нарушить ради меня установленный порядок причин и следствий – порядок в высшей степени достойный – так вот, мне было бы не нужно исцеление; я бы сказал Начальнику: отцепитесь от меня с вашими чудесами – не нуждаюсь!

Он говорит, чеканя слова и слоги, возвысил голос в полную меру гнева – он ужасен.

– Не нуждаетесь? Почему же? – преспокойно спросил Жюльюс.

– Потому что это принудило бы меня поверить в того, кого нет.

При этих словах он грохает кулаком по столу.

Маргарита с Вероникой тревожно переглянулись, потом посмотрели на Жюли.

– Тебе, я думаю, девочка, пора уже спать, – говорит мать. – Ложись поскорей, мы придем к тебе пожелать спокойной ночи в кроватке.

Девочка, перепуганная страшными словами и демонским видом дяди Антима, тотчас же убегает.

– Если я исцелюсь, то хочу быть за это обязанным только себе. И точка.

– Но как же – а доктор? – посмела сказать Маргарита.

– Ему я плачу за услуги, и мы в расчете.

Но Жюльюс говорит до чрезвычайности важно:

– Что ж, если благодарность к Богу вас чересчур обязывает...

– Да, братец, потому-то я и не молюсь.

– За тебя, мой друг, молились другие...

Это говорит Вероника – до сей поры она не сказала ни слова. При звуках знакомого ласкового голоса Антим вздрагивает, теряет всякое самообладание. Доводы возражений наперебой рвутся с языка. Прежде всего никто не имеет права молиться за другого против его желания, просить для него милости без его ведома – это злоупотребление доверием. Она ничего не добилась – вот и прекрасно! Будет знать, чего они стоят, молитвы! Вот он и вышел кругом прав! А впрочем, быть может, она не так хорошо и молилась?

– Успокойтесь, я расскажу дальше, – так же ласково отвечает Вероника. Улыбаясь, как будто гневная буря ее не коснулась, она поведала Маргарите: каждый вечер, ни разу не пропустив, она зажигает за Антима две свечки и приносит к статуе Мадонны у перекрестка на северном углу их дома – той самой, у которой когда-то она увидела, как перекрестился Беппо. Ночевал мальчишка там же, неподалеку, на улице, в нише стены, и Вероника всегда наверняка могла его там застать в нужный час. Сама она до статуи достать не может – та стоит высоко для прохожих, и Беппо (теперь он стал стройным пятнадцатилетним подростком), цепляясь за камни и металлическое кольцо в стене, ставит зажженные свечки перед святым образом. И разговор неприметно ушел от Антима, сомкнулся над его головой: сестры говорили между собой, как трогательно простонародная набожность, для которой самая примитивная статуя всегда будет и самой чтимой... У Антима совсем голова пошла кругом. Как! Мало того что утром Вероника покормила его крыс! Она еще ставит за него свечки! За него! Его жена! Да еще и Беппо вмешала во всю эту жуткую чушь! Ну, погоди же!

Кровь прилила к вискам; стало душно; голова гудела как колокол. Собрав все силы, он встал, опрокинув стул, вылил стакан воды себе на салфетку, вытер мокрой салфеткой лоб... Ему плохо? Вероника спешит на помощь; он грубо ее оттолкнул, вырвался, хлопнул дверью – и вот уже слышно, как удаляются по коридору запинаящиеся шаги под аккомпанемент глухо стучащего костыля.

Гости остались огорченно-растерянными столь внезапным поступком. Несколько секунд они сидели молча.

– Бедная моя! – промолвила наконец Маргарита. Но и при этом случае лишний раз проявилось, насколько различны характеры двух сестер. Душа Маргариты скроена из той

необыкновенной ткани, из которой Бог делает своих мучеников. Она это знает и жаждет страдания. К несчастью, жизнь не принесла ей никаких бед; у нее все есть, и ее дар терпения вынужден искать применения по случаю мелких невзгод; всяким пустяком она пользуется, чтоб он ее оцарапал, за все хватается и ко всему цепляется. Да, она умеет устроиться так, чтоб ей всегда чего-то не хватало, вот только Жюльюс как будто нарочно желает оставить ее добродетель без употребления – что ж удивительного, что она им всегда недовольна, всегда капризна? Чего бы достигла она с мужем таким, как Антим! И ей неприятно, что Вероника этим так плохо пользуется; та вечно умеет уйти без потерь; с елеем ее неперменной улыбки все проскакивает незаметно: насмешки, сарказмы... И, конечно, она давно уж решилась жить своей жизнью; к тому же Антим обходится с ней неплохо и всегда может прямо сказать, чего ему надо. Он потому так кричит, объясняет она, что ему трудно двигаться; будь он совсем без ног, то не так бы и горячился. А на вопрос Жюльюса, куда он пошел, Вероника ответила:

– В лабораторию.

Когда же Маргарита спросила, не стоит ли последовать за ним – ведь после такой вспышки гнева ему и дурно стать может! – сестра ей сказала: поверь, лучше оставить его успокоиться самому, не обращать внимания на его выходку.

– Давайте закончим ужин, – говорит она в заключение.

V

Но нет, не в лаборатории остался дядя Антим.

Как можно скорей он миновал рабочее помещение, где довершались страдания шести его крыс. Отчего не помедлил он на террасе, омытой закатным светом? Серафическое вечернее освещение умирило бы непокорную душу, быть может, преклонило бы его... Но нет: он уклонился от вразумления. По неудобной винтовой лестнице он спустился во двор, вышел на улицу. Трагедией видится поспешность калеки: мы же знаем, с каким усилием дается ему каждый шаг, ценою каких страданий – любое усилие... Когда же мы узрим, что дикая эта энергия направится на благое дело? Иногда с его губ срывается стон, сводит судорогой лицо... Так куда же ведет его богопротивное бешенство?

Эта Мадонна (с ее протянутых ладоней истекает на дом сей милость и на весь мир отраженье небесных лучей; быть может, заступничает она даже за богохульника) не то что нынешние статуи, изготовленные из пластического римского картона Блафафаса в художественных мастерских Лилиссуар-Левикуан. Образ ее – выраженье народного благочестия – простодушен, и оттого лишь прекрасней и красноречивей для взора. Напротив статуи, но достаточно далеко, освещающая бледное лицо, глянцевиные руки и голубой покров, подвешен фонарь на цинковой крыше, прикрывающей углубление, где висят на стене молитвенные подношенья. На высоте поднятой руки за железной дверцей, ключ от которой находится у церковного сторожа, скрыто крепленье веревки для фонаря. А еще перед образом этим горят день и ночь две свечи, принесенные Вероникой. При виде этих свечей вновь подымается ярость масона: он знает, что свечи горят за него. Навстречу выбежал Беппо – в своем укрытии он как раз догрызал черствую корку с парой веточек зелени. Не отвечая на его учтивый привет, Антим схватил паренька за плечо; наклонился над ним – и что ж произнес он такого, что Беппо от ужаса весь затрясся?

– Нет! Нет! – возмущенно крикнул мальчишка. Из кармана жилетки Антим достал пятилировую бумажку – Беппо вознегодовал... Быть может, когда-нибудь станет он воровать, станет даже убийцей – кто знает, каким зловонным пятном нужда покроет его чело? Но поднять руку на Пречистую Деву, которая печется о нем, по которой он каждый вечер,

засыпая, вздыхает, которой, проснувшись, улыбается каждое утро! Пусть Антим убеждает, грозит, ругается, подкупает его – он получит от Беппо только отказ.

Впрочем, нам не следует заблуждаться. Не на саму Богородицу озлоблен теперь Антим, но на Вероникины свечи пред нею. Однако простая душа Беппо таких тонкостей не разбирает – да и свечи эти святые теперь, никто не имеет права их задувать...

Антим, отчаявшись, оттолкнул непреклонного паренька. Он все сделает сам. Прислонившись к стене, он берет костыль за ножку, страшно размахивается, занеся назад рукоять, и со всех сил швыряет его к небесам. Деревянный костыль рикошетит от ниши, падает с грохотом на землю, а за ним – какой-то обломок, кусок штукатурки. Антим подбирает костыль, отступает, смотрит на статую... Чертова сила! Две свечи как горели, так и горят. Но что это? У статуи на месте правой руки торчит лишь черный железный штырь.

Отрезвев, он оглядывает обидный итог своего поступка: и все оказалось ради дурацкого вандализма... Тьфу, пропасть! Он ищет глазами Беппо: мальчика нет как нет. Опускается мрак; Антим стоит один, видит на мостовой обломок, отбитый его костылем, подбирает: маленькая рука из гипса; пожав плечами, он кладет ее в жилетный карман.

Со стыдом на лице, с яростью в сердце святотатец идет обратно в лабораторию: он хотел бы теперь поработать, но непосильное напряжение надломило его: способен он только заснуть. Разумеется, он ляжет спать, ни с кем не прощаясь... Но едва он входит в свою спальню, как его останавливает чей-то голос. Дверь соседней комнаты открыта, он крадется по темному коридору...

Подобна ангелу-хранителю дома, маленькая Жюли в ночной рубашонке стоит на коленях у себя на постели; у изголовья, освещенные лампой, преклонили колени Вероника и Маргарита; чуть дальше, в изножье, стоит Жюльяс в благочестиво-мужественной позе: одну руку держит у сердца, другую прикрыл глаза; все они слушают, как молится девочка. Совершенная тишина облекает все это зрелище; оно напоминает ученому один тихий золотой вечер на берегу Нила, когда голубой дымок восходил, как восходит теперь молитва ребенка, прямо к чистому небу...

Молитве, как видно, скоро конец; девочка уже прочитала все, что положено по уставу, и теперь молится от избытка сердца, как оно ей подскажет: молится о маленьких сиротах, о страждущих и о бедных, о старшей сестре Женеьеве, о тетушке Веронике, о папе, о том, чтоб поскорей зажил глаз у дорогой мамочки... Но сердце Антима стеснено; громко, с порога, на всю комнату он произносит, желая быть ироничным:

– А о дяде у Господа мы ничего не попросим?

И тогда девочка недрогнувшим голосом, ко всеобщему изумлению, произносит:

– И еще о грехах моего дяди Антима молю тебя, Боже.

Атеиста эти слова поражают в самое сердце.

VI

В ту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучал в дверцу его спальни – не в коридорную дверь, не в дверь из соседней комнаты, а значит, еще в одну, которой ученый не примечал наяву: она вела прямо на улицу. Поэтому он испугался, ничего не отвечал поначалу – сидел притихший. Какое-то слабое сиянье позволяло ему ясно видеть каждую мелочь в комнате – свет неверный и тихий, как будто от ночника, однако во тьме никакая свеча не светила. Антим пытался понять, откуда исходит это сиянье, и тут постучали еще раз.

– Что вам угодно? – крикнул он дрожащим голосом.

На третий раз его охватила необычайнейшая расслабленность – такая, что всякое чувство страха растаяло в ней (позже он ее называл безропотной нежностью); потом он вдруг понял, что совсем беззащитен и что дверь сейчас отворится. Она открылась бесшумно, и

какой-то миг он видел только черный проем, но вот в нем, как в нише, возникла Пречистая Дева. Маленькая белая фигурка – сначала он принял ее за свою племянницу Жюли, такую, как видел только что: с босыми ножками, чуть видными из-под рубашки, – но мгновение спустя признал ту, кого только что оскорбил: я хотел сказать, что она имела облик статуи с перекрестка, а он различил даже рану у нее на правой руке; однако улыбка на ее бледном лице была еще прекрасней и приветливей обыкновенного. Он не видел, чтобы она переступала ногами, но она приблизилась к нему, как бы скользя, и, подойдя к самому изголовью, сказала ему:

– Ты, кто поранил меня, думаешь ли, что я нуждаюсь в руке, чтобы исцелить тебя? – И протянула к нему пустой рукав.

Ему казалось теперь, что это странное сиянье от нее и исходит. Но вдруг железный штырь вонзился ему в бок, страшная боль пронзила его, и он проснулся во тьме.

Пожалуй, с четверть часа Антим приходил в себя. Во всем теле он ощущал странное онемение, оупение, потом щекотку, довольно приятную, так что уже сомневался, вправду ли чувствовал ту острую боль в боку; он уже не понимал, где его сон начался и где кончился, наяву ли он теперь, спал ли сейчас перед тем... Он ощупал себя, ущипнул, убедился, что бодрствует, выпростал из постели руку и зажег спичку. Вероника спала рядом с ним, отвернувшись лицом к стене.

Тогда, вытащив простыню из-под матраса, откинувши одеяла, он спустил с кровати ноги и сунул в туфли пальцы. Костыль стоял тут же, прислоненный к ночному столику; он не взял его, приподнялся на руках, подвинув при этом кровать; потом надел туфли полностью; потом встал прямо на ноги; потом, еще неуверенно, протянув одну руку вперед, другую назад, сделал шаг, два шага вдоль кровати, три шага, потом через комнату... Мать Божья! ужели?... Бесшумно напялил штаны, надел жилет, куртку... Остановись, мое неосторожное перо! Где-то плещет теперь крылом освобожденная душа, уносимая неловким порывом тела, исцеленного от расслабления?

Через час с четвертью, пробужденная неким предчувствием, Вероника проснулась и сначала встревожилась, что Антима нет рядом с ней; еще сильнее встревожилась она, когда зажгла спичку и увидела стоящий у изголовья костыль – непременно товарища калеки. Спичка догорела меж пальцев ее, ибо свечку забрал Антим, уходя; Вероника на ощупь оделась кое-как, тоже вышла из комнаты и тотчас же увидела путеводный луч из-под двери Антимова логова.

– Антим! Ты здесь, друг мой?

Ответа не было. Но Вероника, наострив уши, услышала какой-то необычный звук. Тогда она в крайней тревоге открыла дверь – и увиденное пригвоздило ее к порогу.

Ее Антим был тут, прямо перед нею; он не сидел, не стоял; макушка, вровень с его столом, вся освещалась свечой, которую он поставил на краешек. Антим – ученый, атеист, у которого долгие годы негибимы оставались и покалеченная нога, и непреклонная воля (ибо, надо заметить, у него дух и тело всегда шли рядом), – Антим преклонил колени.

На коленях стоял Антим! Двумя руками держал он кусочек гипса, орошая его слезами, покрывая иступленными поцелуями. В первый миг он не пошевелился, и Вероника, в недоумение, не смея ни войти, ни вернуться, уже собиралась сама преклонить колени прямо на пороге, напротив супруга, но тут – о чудо! – он без усилия встал, пошел к ней твердым шагом и заключил в крепких объятьях.

– Отныне, – сказал он, склонившись над ней и прижав ее к сердцу, – отныне, друг мой, ты будешь молиться со мною вместе.

VII

Обращение франкмасона не могло долго оставаться в тайне. Жюльюз де Барайуль в тот же день, не откладывая, сообщил о нем кардиналу Андре, который поделился вестью со всей Консервативной партией и высшим духовенством Франции; Вероника же объявила об этом отцу Ансельму, так что вскоре новость дошла и до ушей Ватикана.

Не было сомнений, что на Армане-Дюбуа почилась особенная благодать. Что Пресвятая Дева действительно являлась ему, утверждать, пожалуй, было бы неосторожно, но даже если он видел ее только во сне, исцеление было налицо: наглядное, неоспоримое и, безусловно, чудесное.

И если Антиму, быть может, исцеления было бы и довольно, то Церкви того не хватало: она потребовала торжественного отречения от заблуждений, предполагая обставить его с чрезвычайной пышностью.

– Как же это? – говорил ему несколько дней спустя отец Ансельм. – Будучи в заблуждении, вы всеми средствами распространяли ересь, а ныне уклонитесь преподать миру высокий урок, извлеченный небом из вас самого? Сколько душ отвратил ложный свет вашей суетной науки от света истинного? Теперь в вашей власти посмеяться над прежним, и вы поколеблетесь сделать так? Что говорю: в вашей власти! Это ваш непереносимый долг, и я вам не нанесу оскорбления, предполагая, будто вы не чувствуете того.

Нет, Антим не уклонялся от этого долга, однако не мог не опасаться его последствий. Серьезные интересы, которые были у него в Египте, находились, как мы сказали уже, в руках франкмасонов. Что мог он сделать без поддержки Ложи? И какая могла быть надежда, что Ложа продолжит поддерживать человека, который от нее прямо отрекся? Прежде он ожидал от нее богатства, ныне же впереди видел свое совершенное разорение.

Он открылся отцу Ансельму. Тот обрадовался. Он не знал, что Антим посвящен в высокую степень: тем приметнее, думал он, будет его отречение. Два дня спустя масонство Антима уже не было тайной для читателей «Оссерваторе» и «Санта Кроче».

– Вы же меня погубите, – говорил Антим.

– Нет, сын мой, напротив, – отвечал отец Ансельм, – мы несем вам спасение. Что же до нужд материальных, о том не заботьтесь: Церковь поддержит вас. Я имел долгую беседу о вашем деле с кардиналом Пацци, а тот, верно, доложит Рамполле; скажу вам и то, что ваше отречение не неизвестно и его святейшеству; Церковь не может не признать жертвы, которую вы принесете ради нее, и не допустит, чтобы вы от того понесли ущерб. Впрочем, не кажется ли вам, что вы преувеличиваете эффективность, – он улыбнулся, – масонства в таких делах? Нет, мне, конечно, известно, что с ними слишком часто приходится считаться... Наконец, есть ли у вас оценка того, что вы боитесь потерять из-за их вражды? Скажите нам примерную сумму и... – он с лукавым добродушием поднес палец левой руки к носу, – ничего не страшитесь.

Через десять дней после торжеств юбилея в чрезвычайно помпезной обстановке состоялось в церкви Иисуса торжественное покаяние Антима. Мне ни к чему говорить о подробностях церемонии, обратившей на себя внимание всех итальянских газет того времени. Отец Т., товарищ генерала ордена иезуитов, произнес по этому случаю одну из примечательнейших своих проповедей. Очевидно, что душа франкмасона мучилась до безумия, и крайний предел ненависти ее оказался предвозвещением любви. Благочестивый оратор вспомнил Савла Тарсийского, найдя между святотатственным поступком Антима и побиением камнями святого Стефана поразительную аналогию. И пока набухало и раскатывалось под сводами церкви красноречие преподобного отца, как прокатывается по гроту набухшая пена прилива, Антим припоминал звонкий голосок своей племянницы и в глубине сердца благо-

дарил ее за то, что она призвала на грехи злочестивого дядюшки милосердие той, которой только он и желал служить впредь.

После этого дня, поглощенный высшими заботами, Антим едва замечал тот шум, что поднялся вокруг его имени. Жюльюз де Барайуль взял его страдания на себя и не мог развернуть газеты без замиранья сердца. На первый восторг ортодоксальных листков отозвалось шиканье органов либеральных: на большую статью «Оссерваторе» «Новая победа Церкви» отвечала инвектива «Темпо Феличе» «Одним дураком больше». Наконец, в «Депеш де Тулуз» хроника наблюдений Антима, отправленная за два дня до его исцеления, вышла с издательским предисловием; Жюльюз от имени свояка ответил сухим и достойным письмом, извещавшим, что «Депеш» отныне не может числить его среди своих сотрудников. «Цукунфт» сама первой вежливо поблагодарила Антима за прошлое. Тот принимал удары судьбы с ясным ликом истинно боголюбивой души.

– Слава богу, «Корреспондан» для вас будет всегда открыт, это я вам обещаю, – громко шептал ему Жюльюз.

– Но что же я туда, по-вашему, стану писать? – благодушно возражал Антим. – Все, что занимало меня вчера, сегодня уже не интересует.

Потом разговоры их прекратились. Жюльюз был должен вернуться в Париж.

Тогда же Антим под нажимом отца Ансельма покорно оставил Рим. Когда он лишился поддержки Ложы, денежный крах его наступил очень скоро, а визиты, на которые подталкивала его Вероника, полагавшаяся на поддержку Церкви, привели только к тому, что высшему духовенству он надоел, а там и стал раздражать. Ему дан был дружеский совет поехать в Милан и там дожидаться обещанного возмещения ущерба и крох от выдохшейся небесной милости.

Книга вторая ЖЮЛЬЮС ДЕ БАРАЙУЛЬ

*Поскольку никому никогда не следует закрывать обратный путь.
Кардинал де Ретиц*

I

В полночь с 30 на 31 марта семья Барайуль вернулась в Париж и проехала домой, в квартиру на улице Вернёй.

Маргарита готовилась ко сну, а Жюльюз, с маленькой лампой в руке, обутый в мягкие туфли, прошел к себе в рабочий кабинет – никогда он не входил туда без наслаждения. Комната была убрана скупой; несколько Лепинов и один Буден висели на стенах; в углу на поворотном цоколе резковатым, пожалуй, пятном белел мраморный бюст: портрет жены работы Шапю; посреди комнаты огромный стол в стиле Ренессанса, на котором за время отлучки накопились груды книг, брошюр и рекламных проспектов; на подносе перегородчатой эмали несколько визитных карточек с загнутыми углами, а в стороне, прислоненное, чтоб было видно, к бронзовой статуэтке работы Бари, – письмо. Жюльюз тотчас увидел по почерку, что оно от старика отца. Он немедленно разорвал конверт и прочитал:

«Дорогой сын.

В последние дни силы мои резко пошли на убыль. По некоторым безобманным признакам я понимаю, что пора сдавать багаж, да и ни к чему уже торчать на станции.

Зная о Вашем возвращении в Париж нынче ночью, я надеюсь, что Вы не замедлите оказать мне такую услугу: по некоторым соображениям, о которых я Вам расскажу вскорости, мне необходимо знать, проживает ли еще молодой человек по имени Лафкадио Луйки (пишется «Влуйки», но «в» не произносится) в тупике Клода Бернара, № 12.

Очень буду обязан Вам, если Вы благоволите отправиться по этому адресу и спросить там названную особу. Как романист, Вы без труда найдете предлог пройти к нему. Мне очень надобно знать:

- 1) чем занят этот молодой человек;
- 2) к чему в жизни стремится (хочет ли чего-нибудь добиться? в какой области?);
- 3) и, наконец, укажите мне, каковы показались Вам его средства, способности, пристрастия, вкусы и проч.

Не ищите покамест увидеть меня: я в дурном расположении духа. Все эти сведения Вы можете передать точно так же в нескольких словах на письме. Если ко мне придет желание побеседовать с Вами или же я соберусь в дальний путь, то дам Вам знать.

Целую Вас.

Жюст-Аженор де Барайуль.

P. S. Никак не давайте понять, что Вы от меня: молодой человек меня не знает и не должен знать впредь.

Лафкадио Луйки теперь девятнадцать лет. Румынский подданный. Сирота.

Я пролистал Вашу последнюю книгу. Если после этого Вы не попадете в академию – сочиненную Вами дребедень оправдать нечем».

Отрицать не приходилось: пресса у последней книги Жюльюса была дурная. Несмотря на усталость, писатель проглядел вырезки из газет, где о нем писали неблагосклонно. Потом он растворил окно и вдохнул воздух туманной ночи. Окна квартиры писателя выходили в посольский сад – всеочищающую купель тьмы, где очи и дух омывались от нечистот мира и городских улиц. Несколько секунд он слушал ясную песню невидимого дрозда. Потом вернулся в спальню. Маргарита была уже в постели.

Боясь бессонницы, он взял на комод флякон флердоранжевой настойки, которую часто употреблял. Никогда не забывая о супружеской предупредительности, он снял с ночного столика зажженную лампу и перенес на пол, но легкий звон хрусталя, раздавшийся, когда он выпил лекарство и поставил бокал обратно, проник в глубины забытья Маргариты; с утробным мычанием она перевернулась лицом к стене. С радостью сочтя ее проснувшейся, Жюльюс подошел к кровати и, раздеваясь, сказал:

– Хочешь узнать, что отец сказал про мою книгу?

– Дорогой друг, у твоего отца нет никакого литературного вкуса, ты же сто раз мне это говорил, – прошептала Маргарита. Ей хотелось только спать.

Но у Жюльюса на сердце было чересчур тяжело:

– Он говорит, что я сочинил дребедень и нет мне оправданий.

Наступило довольно долгое молчанье, в которое Маргарита погрузилась, совершенно забыв о всякой литературе; Жюльюс уже смирился с тем, что остался в одиночестве, но она, из любви к нему, совершила великое усилие и выплыла на поверхность:

– Надеюсь, ты не будешь из-за этого нервничать?

– Как видишь, я к этому отношусь очень спокойно, – тотчас же ответил Жюльюс. – Но все-таки нахожу, что не отцу моему подобает так выражаться – кому угодно, только не моему отцу, особенно о той книге, которая, собственно говоря, не что иное, как памятник ему.

В самом деле, разве не образцовую карьеру старого дипломата начертал Жюльюс в своей книге? Разве не противопоставил он романтическим завихрениям достойную, спокойную, классическую жизнь Жюста-Аженора в семье и в политике?

– Но, к счастью, ты написал эту книгу не ради его признательности.

– Он намекнул мне, что я написал «Воздух вершин», чтобы меня избрали в академию.

– А хотя бы и так! Что с того, если тебя изберут в академию за хорошую книгу? – И жалостливо добавила: – Что ж, будем надеяться, что газеты и журналы его вразумят.

Жюльюс взорвался:

– Газеты! Журналы! Как бы не так! – Он обернулся к Маргарите и яростно прокричал, словно она в том была виновата: – Да меня там в пух и прах разносят!

И вот Маргарита совсем проснулась.

– Тебя там сильно критикуют? – спросила она участливо.

– И хвалят – возмутительно лицемерно.

– Как ты был прав, презирая этих газетчиков! Но вспомни, что писал тебе позавчера господин де Вогюз: «Перо, подобное вашему, защищает Францию как меч!»

– «Перо, подобное вашему, от варварства, нам грозящего, защищает Францию лучше меча», – поправил Жюльюс.

– А кардинал Андре, обещая тебе свой голос, совсем недавно уверял, что за тобой вся Церковь.

– Вот уж толку-то!

– Друг мой!

– Мы с Антимом только что убедились, чего стоит самая высокая поддержка духовенства.

– Ты стал озлоблен, Жюльюз. Ты часто говорил мне, что трудишься не ради награды, не ради чужих похвал – тебе довольно собственного одобрения; ты даже написал об этом прекрасные строки.

– Знаю, знаю, – сказал Жюльюз.

Его глубокой муке не помогали такие декокты. Он прошел в туалетную комнату.

Зачем он, увлекшись, позволил себе при жене эти жалкие излияния? Его тоска не из тех, что жены могут заласкать и убаюкать, поэтому из гордости, из стыда он должен был затворить ее в своем сердце. «Дребедень!» Пока он чистил зубы, это слово колотилось у него в висках, выталкивало его самые благородные помыслы. Какая же после этого цена была его последней книге? Он уже забывал саму фразу отца – забывал по крайней мере, что это фраза отца. Страшное вопрошание впервые в жизни восстало в нем – в нем, доселе встречавшем одни похвалы да улыбки: сомнение в искренности этих улыбок, в достоинстве этих похвал, в достоинстве своих трудов, в реальности своих мыслей, в подлинности своей жизни.

Он вернулся в спальню, рассеянно держа в одной руке зубную щетку, в другой стакан, поставил стакан, до половины полный розовой водой, на комод, в него щетку и присел за кленовый дамский столик, на котором Маргарита имела обыкновение писать письма. Взяв Маргаритину перьевую ручку, листок умеренно надушенной лиловатой бумаги, он торопливо начал:

«Дорогой отец!

Я нашел Вашу записку, вернувшись сегодня поздно вечером. Завтра займусь поручением, которое Вы мне доверили; надеюсь исполнить его к Вашему удовольствию и полагаю, что тем докажу Вам мою преданность».

Ибо Жюльюз был из тех благородных натур, которые в неприятных обстоятельствах являют свое настоящее величие. Он запрокинулся телом назад и, подняв перо, застыл на несколько минут, продумывая следующую фразу:

«Мне тяжело именно от Вас видеть заподозренным бескорыстие, с которым»...

Нет. Лучше так:

«Неужели вы думаете, что я меньше ценю ту литературную честность, нежели»...

Фраза не клеилась. Жюльюз сидел в пижаме; он почувствовал, что так может и простудиться, скомкал бумагу, взял стакан со щеткой, отнес в туалетную комнату, а скомканную бумагу выбросил там же в ведро.

Уже совсем ложась спать, он тронул жену за плечо:

– А ты что думаешь о моей книге?

Маргарита приоткрыла сонные глаза. Жюльюсу пришлось повторить вопрос. Маргарита, полуобернувшись, поглядела на него. Над поднятыми бровями Жюльюса рядами лежали морщины, губы закушены – его было жалко.

– Но что с тобой, друг мой? Неужели ты вправду думаешь, будто последняя твоя книга хуже всех остальных?

Это был не ответ: Маргарита увиливала.

– Да я думаю, что и другие не лучше этой!

– Ах вот как...

Видя подобное исступление, потеряв все силы и чувствуя, что здесь не помогут доводы любви, Маргарита повернулась спиной к свету и заснула.

II

Несмотря на некоторое профессиональное любопытство и лестную иллюзию, что ничто человеческое ему должно быть не чуждо, до сих пор Жюльюз редко выходил за пределы принятого в высшем классе и общался почти исключительно с людьми своего круга. Не хватало не столько желания, сколько случая. Собираясь выйти с сегодняшним визитом, Жюльюз вдруг сообразил, что у него даже вполне подходящего к случаю костюма нет. В его пальто, манишке и даже цилиндре было что-то слишком пристойное, скованное, изысканное... А может быть, все-таки и не нужно, чтобы его платье вызывало молодого человека на слишком скорое сближение? Заслужить его доверие, думал Жюльюз, нужно разумными речами. По дороге же к тупику Клода Бернара он все время думал, с какими хитростями, под каким предлогом проникнуть туда и повести расследование.

Что могло быть общего между этим Лафкадио и графом Жюстом-Аженором де Барайлем? Неотвязный вопрос жужжал и кружил вокруг Жюльюса. Теперь, когда он окончил жизнеописание отца, уже не подобало задаваться вопросами о его жизни. Он желал знать о ней только то, что отец сам рассказывал. В последние годы граф стал молчалив, но скрытен никогда не был. Проходя Люксембургским садом, Жюльюз попал под ливень.

В переулке Клода Бернара у подъезда под двенадцатым номером стоял фиакр; проходя мимо, Жюльюз успел разглядеть в нем даму в довольно крикливом наряде и шляпе с чрезмерно большими полями.

Жюльюз назвал имя Лафкадио Луйки портье этого дома с меблированными комнатами, и сердце его заколотилось: романисту казалось, что он бросился навстречу какому-то диковинному приключению, – но когда он поднимался по лестнице, пошлость этого места, безликость обстановки отвратили его; любопытство, не находя себе новой пищи, угасло и сменилось брезгливостью.

На пятом этаже коридор без ковра, освещавшийся только с лестничной клетки, в нескольких шагах от площадки изгибался коленом; с обеих сторон в него выходили закрытые двери; лишь в торцевой комнате дверь была приоткрыта и пробивался тоненький лучик света. Жюльюз постучался – напрасно; робко раскрыл дверь пошире: в комнате никого. Жюльюз спустился обратно.

– Если нет его, так скоро будет, – сказал портье.

Дождик лил ливнем. Рядом с прихожей, напротив лестницы, была комната ожидания, куда Жюльюз и прошел; там стоял такой затхлый запах, вид был так уныл, что Жюльюсу подумалось даже: с тем же успехом он мог открыть дверь наверху до конца и преспокойно дожидаться молодого человека в его комнате. Он снова поднялся на пятый этаж.

Когда он свернул в коридор, из комнаты рядом с торцевой вышла женщина. Жюльюз наткнулся на нее и попросил прощения.

– А вам кого?

– Господина Луйки – он здесь живет?

– Его нет дома.

– Ай-яй-яй! – воскликнул Жюльюз с таким непритворным огорчением, что женщина тут же спросила:

– У вас к нему что-то срочное?

Жюльюз приготовил оружие только против неизвестного ему Лафкадио и не знал, что делать теперь; может быть, эта женщина хорошо знает юношу; может быть, если ее разговорить...

– Я хотел у него кое-что разузнать.

– А вы от кого?

«Она решила, что я из полиции, что ли?» – подумал Жюльюс.

– Я граф Жюльюс де Барайуль, – сказал он довольно важно, приподнимая цилиндр.

– О, граф! Простите, пожалуйста, я вас не... Такой темный коридор! Проходите, сделайте милость! – Она открыла дверь торцевой комнаты. – Лафкадио, должно быть, скоро... Он только вот... Позвольте, позвольте!

Жюльюс уже входил в комнату, поэтому она бросилась вперед него: на стуле нахально валялись женские панталончики; скрыть их она не успела и постаралась хотя бы прибрать.

– Здесь такой беспорядок...

– Ничего, ничего! Я человек привычный, – попытался попасть в тон Жюльюс.

Карола Негрешитти была молода, полновата, а лучше сказать – толстовата, но хорошо сложена и на вид свежа, с чертами лица заурядными, но не вульгарными и довольно приятными, с нежным телячьим взглядом, с блеющим голосом. Поскольку сейчас она собиралась на улицу, на голове у нее была фетровая шляпка; с блузкой прямого покроя, перехваченной посередине поясом с морским узлом, она носила мужской воротничок и белые манжеты.

– А вы давно знакомы с господином Луйки?

– Может быть, я сама ему передам, что вам угодно? – ответила она вопросом на вопрос.

– Понимаете... Я хотел узнать, очень ли он сейчас занят.

– День на день не приходится...

– Потому что если у него есть немного свободного времени, я думал попросить его...
гм... кое-чем для меня заняться.

– А что за работа?

– Вот... понимаете ли... я как раз и хотел немножко разузнать, чем он, собственно, занимается...

Вопрос был задан без ухищрений, но по Кароле было видно, что с ней хитрить и не нужно. Между тем и граф опять вполне овладел собой; он устроился на том самом стуле, который Карола освободила, она присела рядом с ним на край стола и уже собралась рассказывать, но тут в коридоре послышался громкий шум, дверь со стуком распахнулась и появилась женщина, которую Жюльюс видел в экипаже.

– Ну, так я и знала! – заявила она. – Я же видела, как он вошел.

Карола тотчас отодвинулась от Жюльюса подальше:

– Да нет же, дорогая... мы так, разговаривали... Берта Гран-Марнье, моя подруга; граф... ой, простите, забыла вашу фамилию!

– Не имеет значения, – сказал Жюльюс немного смущенно, пожимая руку в перчатке, протянутую Бертой.

– А ты меня представь, – сказала Карола.

Берта, представив подругу, продолжала речь:

– Послушай, милочка, нас там уже битый час ожидают. Если хочешь поговорить с этим господином, захвати его: я в экипаже.

– Да он не ко мне пришел.

– Тогда поехали! Вы не поужинаете сегодня с нами?

– Весьма сожалею.

– Простите, милостивый государь, – сказала Карола, покраснев и торопясь выпроводить подругу из комнаты. – Лафкадио вернется с минуты на минуту.

Девушки ушли, оставив дверь открытой; по незастеленному коридору шаги отдавались гулко; за поворотом входящего было не видно, но сразу слышно, что кто-то идет.

«Словом, надеюсь, комната скажет мне даже больше, чем женщина», – подумал Жюльюс. Он принялся хладнокровно изучать ее.

Увы, его неопытной любознательности не за что было зацепиться в этой пошлой мебелишке.

Ни книжной полки, ни картин на стенах. На камине – «Молль Флендерс» Даниеля Дефо по-английски в гадком издании, разрезанная чуть дальше середины, и «Новеллы» Антона Франческо Граццини, прозванного Ласка, по-итальянски. Эти книги Жюльюса заинтриговали. Рядом с ними бутылка мятного ликера, а за ней фотография, которая растревожила гостя еще больше: на песчаном морском берегу женщина, уже не молодая, но необычайно красивая, опирается на руку мужчины ярко выраженного английского типа, элегантного и стройного, в спортивном костюме; у ног их на опрокинутом ялике сидит и смеется крепкий мальчишка лет пятнадцати с густыми растрепанными светлыми волосами, с бесстыдным взглядом и совершенно голый.

Жюльюс взял фотографию и поднес к окошку, чтобы в правом нижнем углу разобрать выцветшие слова: «Дуино, июль, 1886»; они ему почти ничего не сказали, хотя он и слышал, что Дуино – деревушка на австрийском побережье Адриатики. Он покивал, закусив губы, и поставил фото на место. В остывшем камине притаились коробка с овсяной мукой, мешок с чечевицей и мешок с рисом; дальше у стены стоял шахматный столик. Ничто не указывало Жюльюсу на род занятий или предмет учения, которыми юноша занимал свои дни.

Лафкадио, видимо, только что позавтракал: на столе примус, на нем кастрюлька, в которой еще лежало полое железное яичко с дырочками – в таких заваривают чай туристы, экономящие на каждой мелочи багажа; вокруг грязной чашки остались крошки. Жюльюс подошел к столу: в нем был ящик, а в ящике ключ...

Мне бы не хотелось, чтобы дальнейшее создало о Жюльюсе ложное впечатление: меньше всего на свете он любил лезть в чужие тайны; он принимал жизнь каждого человека в тех поворотах, какие кому угодно было представить, и весьма почитал общественные приличия. Но приказ отца заставлял его унять свой нрав. Он еще мгновение выждал, прислушался: никто не идет, – и тогда – против желания, против собственных принципов, исключительно из деликатного чувства долга – выдвинул ящик, который, как оказалось, на ключ и не был заперт.

Там лежал блокнот в юфтяном переплете, который Жюльюс взял и раскрыл. На первой странице он прочел несколько слов тем же почерком, что и на фотографии:

«Кадио, чтобы он записывал сюда свои счета.
Моему верному товарищу – его старый дядюшка
Фаби».

Ниже почти без отступа уверенным, прямым и четким полудетским почерком:

«Дуино, 10 июля, 1886. Сегодня утром к нам приехал лорд Фабиан. Он подарил мне ялик, карабин и этот красивый блокнот».

Больше на первой странице не было ничего.

На третьей странице под датой «29 августа» было записано: «Дал Фаби 4 сажени вперед»; на следующий день: «Дал 12 сажений вперед»...

Жюльюс понял: это всего лишь дневник тренировок. Впрочем, вскоре подневные записи оборвались, а на чистом листке стояло:

«20 сентября. Отъезд из Алжира в Орес».

Потом еще несколько записей мест и дат, наконец, последняя из них:

«5 октября. Вернулись в Эль-Кантара. 50 км on horseback⁴, без остановок».

Жюльюз перелистнул еще несколько чистых страниц; чуть дальше, как оказалось, дневник начинался заново. Наверху, как заголовок, крупными буквами было старательно выведено:

«QUI INCOMINCIA IL LIBRO
DELLA NOVA ESISTENZA
E
DELLA SUPREMA VIRTU'»⁵.

Потом ниже, как эпиграф:

«Tanto quanto se ne taglia. Boccaccio»⁶.

Указание на мысли о нравственности тотчас же пробудило интерес Жюльюза: он за тем и охотился.

Но уже на следующей странице ему пришлось разочароваться: опять шли цифры. Правда, цифры уже другого рода. Друг за другом следовали записи, но без указания дат и мест:

«За то, что обыграл Протоса в шахматы, – 1 пунта.
За то, что показал, что говорю по-итальянски, – 3 пунты.
За то, что ответил раньше Протоса, – 1 п.
За то, что оставил за собой последнее слово, – 1 п.
За то, что плакал, узнав о смерти Фаби, – 4 п.».

Торопливо читая записи, Жюльюз принял слово «пунта» за название иностранной монеты; эти счета ему показались мелочным, ребяческим торгом за вознаграждение заслуг. Потом оборвались и эти цифры. Жюльюз перевернул еще страницу и прочел:

«4 апреля. Сегодня в разговоре с Протосом:
«Понимаешь ли, что заключено в словах “ну и пусть”?».
На этом записи заканчивались.

Жюльюз пожал плечами, закусил губы, покачал головой и положил блокнот обратно в ящик. Вынул часы, встал, подошел к окну, посмотрел на улицу: дождь кончился. Он пошел взять свой зонтик, который, входя, оставил в углу, и тут увидел: в дверном проеме, держась за косяк и чуть-чуть отступив назад, на него с улыбкой глядит красивый белокурый молодой человек.

III

Тот подросток с фотографии почти не вырос. Жюст-Аженор сказал – ему девятнадцать; дать можно было не больше шестнадцати. Несомненно, Лафкадио вошел только что: когда Жюльюз клал блокнот на место, он уже взглянул на дверь, и там не было никого, – но как

⁴ На крупе лошади (англ.).

⁵ Здесь начинается книга новой жизни и высочайшей доблести (ит.).

⁶ Столько, сколько отрежется. Боккаччо (ит.).

же он не услышал шагов? Инстинктивно взглянув юноше на ноги, Жюльюс увидел: вместо ботинок тот носил калоши.

Лафкадио улыбался. В его улыбке не было никакой злобы: она казалась довольно веселой, но иронической; он стоял, как был, в дорожной фуражке, но, встретившись взглядом с Жюльюсом, снял ее и церемонно поклонился.

– Господин Луйки? – спросил Жюльюс.

Молодой человек снова поклонился и ничего не ответил.

– Простите, что я дожидался вас тут, в вашей комнате. По правде сказать, сам бы я не посмел войти, но меня сюда провели.

Жюльюс говорил быстро и громче обыкновенного, чтобы себе самому доказать, что ничуть не смущен. Лафкадио почти неприметно нахмурился, подошел к зонтику Жюльюса; ни слова не говоря, он взял его и выставил сохнуть в коридор; потом вернулся в комнату и знаком пригласил гостя сесть.

– Вы, конечно, удивлены моим визитом?

Лафкадио невозмутимо достал из серебряного портсигара сигарету и закурил.

– Я в коротких словах объясню вам причину, которая меня сюда привела, и вы сразу поймете...

Чем больше он говорил, тем больше чувствовал, как испаряется его уверенность в себе.

– Так что... но позвольте мне прежде назвать себя... – И, словно стесняясь произнести свое имя, он достал из жилетного кармана визитную карточку и протянул Лафкадио; тот не глядя положил ее на стол. – Сам я... словом, я только что завершил одну довольно серьезную работу; работа небольшая, но мне некогда самому ее переписывать набело. Мне кое-кто сказал, что у вас превосходный почерк, и я подумал, что, собственно говоря... – взгляд Жюльюса красноречиво прошелся кругом по наготе комнаты, – вам, подумал я, не будет неприятно...

– В Париже никто, – перебил его Лафкадио, – ни один человек не мог рассказать вам про мой почерк. – Тут он обратил взгляд на ящик стола (Жюльюс и не подозревал, что сорвал с него неприметную восковую печать), в сердцах повернул ключ в замке и спрятал в карман. – И никто не имеет права об этом рассказывать, – продолжал он, глядя, как покраснел Жюльюс. – С другой стороны, – он говорил очень медленно, словно без смысла и без всякого выражения, – я пока что не очень ясно вижу, по каким причинам господин... – Он взглянул на карточку. – Какие особенные причины граф Жюльюс де Барайуль может иметь интересоваться именно мной. Впрочем, – и тут его голос, в подражание Жюльюсу, вдруг стал таким же густым и насыщенным, – ваше предложение вполне может быть рассмотрено лицом, имеющим, как вы могли заметить, денежные затруднения. – Он встал. – Позвольте мне, ваше сиятельство, передать вам ответ завтра утром.

Предложение закончить визит было недвусмысленным. Жюльюс чувствовал, что на его месте лучше не настаивать. Он взял шляпу, немного помедлил, неловко промолвил:

– Я бы хотел еще побольше поговорить с вами. Позвольте мне надеяться, что завтра... Буду ждать вас после десяти.

Лафкадио поклонился.

Как только Жюльюс завернул за угол коридора, Лафкадио захлопнул дверь и закрыл на задвижку. Кинувшись к столу, он вытащил из ящика блокнот, открыл на последней проболтавшейся странице и карандашом на том самом месте, где бросил записи уже много месяцев назад, написал крупным угловатым почерком, совсем не похожим на прежний:

«За то, что позволил Олибриусу сунуть свой гадкий нос в этот блокнот, – 1 пунта».

Он вынул из кармана перочинный ножик, лезвие которого так сточилось, что превратилось уже в подобие короткого шила, накалил его на спичке и разом воткнул себе через карман штанов в ногу. Гримасы боли он сдержать не смог. Но этого было ему еще не довольно. Не присаживаясь, склонившись над столом, он приписал под последней фразой:

«А за то, что дал ему понять, что знаю об этом, – 2 пунты».

На сей раз он еще помедлил, расстегнул штаны и отогнул в сторону. Он осмотрел ногу, на которой кровоточила маленькая свежая ранка, осмотрел и старые шрамы, покрывавшие все бедро, как следы от прививок. Снова раскалил лезвие и опять дважды, без перерыва, вонзил в свое тело.

– Раньше я так не осторожничал, – сказал он про себя, взяв бутылку мятного ликера и вылив несколько капель на ранки.

Гнев его понемногу унялся, но, ставя бутылку на место, он заметил, что фотография, где он вместе с матерью, чуть переставлена. Тогда он схватил ее, взглянул в последний раз с какой-то тоской; кровь прилила волной к его лицу, и он в ярости разорвал фото. Обрывки он хотел сжечь, но они загорались плохо; тогда он вытащил из камина мешочки с едой, поставил туда вместо подставки для дров две свои единственные книжки, из блокнота выдрал по листочку, разорвал в клочки, в мелкую крошку, положил туда же обрывки фотографии и все поджег.

Уставившись в огонь, он убеждал себя, что ему неизъяснимое удовольствие доставляет глядеть, как сгорают эти воспоминания, но когда остался только пепел и Лафкадио встал, голова у него немного кружилась. Комната была вся в дыму. Он подошел к умывальнику и намочил лоб.

После этого прояснившимися глазами он посмотрел на визитную карточку.

– «Граф Жюльёс де Барайуль», – повторил он. – *Dapprima importa sapere chi e'*⁷.

Он сорвал с шеи платок, который носил вместо галстука и воротничка, до середины расстегнул рубашку и встал у раскрытого окна, омывая тело свежим воздухом. Потом Лафкадио вдруг заторопился, быстро обулся, повязал платок, надел благопристойную серую шляпу – безобидную, цивилизованную по всей мере возможности, – закрыл за собой дверь и зашагал в сторону площади Сен-Сюльпис. Там, в Кардинальской библиотеке напротив мэрии, он, конечно, получит все желаемые справки.

IV

Когда он шел мимо Одеона, ему на глаза попался роман Жюльёса: книга в желтой обложке, один вид которой в любой другой день навел бы на Лафкадио зевоту. Он вытащил кошелек и выкинул на прилавок кругляш в сотню су.

«Ну вот и на вечер растопка!» – подумал он, унося книжку и сдачу.

В библиотеке «Словарь современников» в немногих словах описал ему бесформенный жизненный путь Жюльёса, перечислил заглавия его произведений и похвалил их такими чинными словами, что читать их сразу пропадала охота.

Тьфу! – сплюнул Лафкадио. Он уже хотел поставить словарь на место, но тут вздрогнул от нескольких слов, попавшихся на глаза в предыдущей статье. Несколькоими строчками выше заголовок «Барайуль, Жюльёс де, виконт» Лафкадио прочел в биографии Жюста-Аженора: «С 1873 года посланник в Бухаресте». И почему же от этих простых слов так забилося его сердце?

⁷ Прежде всего надо узнать, кто это (*ит.*).

Мать Лафкадио дала ему пятерых дядюшек, отца же своего он не знал, был согласен считать его умершим и всегда воздерживался от вопросов о нем. Что касается дядюшек (все они были разных национальностей, причем трое из них дипломаты), он быстро убедился, что в родстве с ними ровно настолько, насколько это было угодно красавице Ванде, и никак иначе. Но Лафкадио только что исполнилось девятнадцать. Он родился в Бухаресте в 1874 году – как раз в конце второго года, когда граф де Барайуль жил там, исполняя служебные обязанности.

Загадочный визит Жюльюса насторожил юношу, и как он мог теперь видеть в этом только случайное совпадение? Он приложил все силы, чтобы прочесть статью «Жюст-Аженор де Барайуль», но строчки плясали у него перед глазами; по крайней мере он понял, что граф де Барайуль, отец Жюльюса, – лицо значительное.

Неслыханная радость разорвалась в его сердце: оно заколотилось так, что он испугался, не слышат ли стук даже окружающие. Но нет – одежды кожаные оказались прочны и непроницаемы. Он с хитрой улыбкой оглядел соседей – завсегдатаев читального зала, поглощенных своей дурацкой работой... «Граф родился в 1821 году, – подсчитывал он. – Теперь ему, стало быть, семьдесят два... *Ma chi sa se vive ancora?*...»⁸ Он поставил словарь на место и вышел.

Несколько облачков, подгоняемых довольно свежим ветром, виднелись на голубом небе. «*Importa di domesticare questo nuovo proposito*»⁹, – думал Лафкадио, больше всего на свете ценивший свободу распоряжаться собой; отчаявшись призвать к порядку взвихренную мысль, он решил на время изгнать ее из мозга. Он вынул из кармана роман Жюльюса и приложил все силы, чтобы увлечься книгой, но там не было никаких околичностей, никаких загадок: что-что, а это забыться никак не позволяло.

«А ведь завтра я стану играть роль секретаря у того, кто написал это!» – невольно твердил Лафкадио про себя.

Он купил газету и вошел в Люксембургский сад. Скамейки стояли мокрые; он раскрыл книгу, сел на нее и развернул газету на разделе происшествий. Его глаза тотчас же, как будто так и должно было быть, наткнулись на строчки:

«Здоровье графа Жюста-Аженора де Барайуля, в последние дни, как известно, внушавшее серьезные опасения, кажется, идет на поправку. Он, однако, все еще слаб и может принимать лишь немногих близких».

Лафкадио так и подпрыгнул на скамейке: решение было принято в один миг. Забыв книгу, он бросился к писчебумажной лавке на улице Медичи, где, как он помнил, объявление в витрине обещало «визитные карточки за одну минуту, 3 франка за сотню». Он шел и улыбался; дерзость внезапного замысла его забавляла: у него была страсть к приключениям.

– Когда я смогу получить сотню карточек? – спросил он лавочника.

– Сегодня вечером будет готово.

– Плачу двойную цену, если сделаете к двум часам.

Лавочник сделал вид, что проверяет что-то по книге заказов.

– Из уважения к вам... да, в два часа можете забрать. На какое имя?

И не вздрогнув, не покраснев, только с чуть трепещущим сердцем, на листке, протянутом лавочником, он написал:

«ЛАФКАДИО ДЕ БАРАЙУЛЬ».

⁸ Но кто знает, жив ли он? (*ит.*)

⁹ Теперь дело другое, к этому надо привыкнуть (*ит.*).

«Не принял меня этот олух за человека, – подумал он, уходя: его задело, что лавочник не поклонился ему ниже прежнего. Тут он прошел мимо стеклянной витрины: – Впрочем, надо признать, вид у меня не больно-то барайулистый. Ну что ж, попробуем приблизиться к образцу».

Двенадцати еще не было. Лафкадио был переполнен возбужденными мечтами – есть ему не хотелось.

«Пройдусь немного, а то совсем воспарю, – думал он. – Да пойду по мостовой; если я подойду к прохожим вплотную, они сразу заметят, что я выше их на голову. Еще одно превосходство, которое нужно скрывать. Учиться никогда не поздно».

Он зашел на почту.

«Площадь Мальзерб... – подумал он, посмотрев в адресной книге, где живет граф Жюст-Аженор. – Это потом. Но кто мешает провести сегодня разведку на улице Верней (этот адрес был написан на визитной карточке Жюльюса)?»

Этот район Лафкадио знал и любил; с людного бульвара он свернул на тихую улицу Вану, где его молодой радости дышалось легче. На углу Вавилонской улицы он увидел бегущих людей, а около тупика Удино собралась толпа перед одним трехэтажным домом, из окон которого валил довольно зловещий дым. При всей гибкости своей фигуры Лафкадио не прогнулся настолько, чтоб побежать вместе со всеми.

Лафкадио, друг мой, вы попали в хронику происшествий, и мое перо оставляет вас. Не ждите, что я буду передавать несвязные речи, крики толпы...

Выкручиваясь ужом, Лафкадио пробрался через толкучку в первый ряд. Там на коленях рыдала беднячка.

– Дети! Деточки мои! – твердила она.

Ее держала под руки девушка, чей простой элегантный наряд показывал, что они не родственницы, – очень бледная и такая красивая, что Лафкадио тотчас подошел к ней и спросил, в чем дело.

– Нет, сударь, я ее не знаю. Я только поняла, что у нее двое маленьких детей в той комнате на третьем этаже, куда вот-вот доберется огонь; уже горит на лестнице; пожарников вызвали, но пока они доедут, малыши задохнутся в дыму... Скажите, сударь, а нельзя ли взобраться на балкон по этой стене, а потом – видите? – вон по тому тонкому водостоку? Тут, говорят, воры уже так лазили; для воровства кто-то это сделал, а чтобы спасти детей – все трусят. Я уж и этот кошелек предлагала – все напрасно... Ах, почему я не мужчина!

Дальше Лафкадио не слушал. Он положил шляпу и трость к ногам девушки и бросился вперед. Он влез на брандмауэр, никого не попросив о помощи, подтянулся на руках и встал на ноги. Потом пошел по стене, переступая через натканные на ней осколки стекла.

Но еще пуще прежнего толпа разинула рты, когда он взялся за водосточную трубу и полез по ней на одних руках, еле-еле кое-где касаясь ногами ее креплений. Вот он дотронулся рукой до балкона, вот ухватился за перила; толпа им восхищается и уже не боится: он поистине в совершенстве владеет собой. Плечом вдребезги разбивает окошко, исчезает в комнате... Настал миг невыразимо тягостного ожидания... И вот все видят, как он появляется с плачущим малышом на руках. Он разорвал простыню, связал обрывки концами и сделал веревку, привязал к ней ребенка и опустил прямо в руки потрясенной матери. То же и со вторым...

Когда Лафкадио спустился, толпа приветствовала его как героя.

«Они меня за циркача принимают», – подумал он, с ужасом почувствовав, что краснеет, и с грубым неудовольствием отклонил овацию. Но когда он опять подошел к девушке, а та, вместе со шляпой и с тростью, смущенно протянула ему обещанный кошелек, он улыб-

нул, взял его, высыпал лежавшие там шестьдесят франков и отдал бедной женщине, которая теперь осыпала обоих детей поцелуями.

– А кошелек вы разрешите мне оставить на память о вас, сударыня?

Кошелек был маленький, с вышивкой. Он поцеловал его. Тут они поглядели друг на друга. Девушка была взволнована, еще бледнее прежнего и, казалось, хотела что-то сказать. Но Лафкадио внезапно удра, раздвигая тросточкой толпу, и так он был хмур, что и крики все тотчас же стихли, и никто за ним не последовал.

Он опять пошел к Люксембургскому саду, кое-как перекусил в «Гамбринусе» рядом с Одеоном и поскорей вернулся к себе в комнату. Под плинтусом прятал он свои сбережения: три монеты по двадцать франков и одна десятка явились из тайника. Он подсчитал:

Визитные карточки: шесть франков.

Пара перчаток: пять франков.

Галстук: пять франков (да за такие деньги найдешь ли приличный?).

Пара туфель: тридцать пять франков (долгой службы у них никто не спросит).

Остается девятнадцать франков на непредвиденные расходы.

(Лафкадио терпеть не мог долгов, поэтому платил всегда наличными.)

Он подошел к шкафу и достал черный шевиотовый костюм, превосходно скроенный и совсем не поношенный.

«Только беда в том, что я с тех пор вырос...» – вздохнул он, припоминая великолепные времена, еще недавние, когда его последний дядюшка маркиз де Жевр водил к своим портным элегантного юношу.

Плохо сидящая одежда была для Лафкадио таким же смертным грехом, как для кальвиниста ложь.

«Но главное не в этом. Дядюшка де Жевр говорил: человека встречают по обуви».

И первым делом, из уважения к туфлям, которые будет мерить, Лафкадио переменил носки.

V

Вот уже пять лет граф Жюст-Аженор де Барайуль не выходил из своей роскошной квартиры на площади Мальзерб. Здесь он готовился к смерти, задумчиво бродя по залам, сплошь уставленным художественными собраниями, но чаще затворяясь в своей комнате и предавая болящие плечи и руки услугам нагретых салфеток и болеутоляющих компрессов. Огромный платок цвета мадеры тюрбаном обворачивал его прекрасную голову; один конец тюрбана свободно свисал на кружевной воротник и толстый вязаный жилет цвета гаванских сигар, по которому серебристыми волнами рассыпалась борода Жюста-Аженора. Ноги в кожаных белых бабушах лежали на грелке с водой. Истощенные руки он по очереди окунал в раскаленный песок, под которым бледным светом горела спиртовка. Колени закрывал серый плед. Он, конечно, был похож на Жюльюса, но еще больше на какой-то портрет Тициана, а Жюльюс представлял собой лишь опошленное воспроизведение его черт, как и жизнь его представил в «Воздухе вершин» подслащенной и свел ее к никчемности.

Жюст-Аженор де Барайуль пил из чашки целебный настой и слушал наставления отца Авриля, своего духовника, с которым завел привычку часто советоваться. Вдруг в дверь постучали, и верный Эктор, который уже лет двадцать исполнял при графе обязанности выездного лакея, сиделки и, при необходимости, советника, подал эмалированный поднос, а на нем запечатанный конвертик:

– Этот господин надеется, что ваше сиятельство благоволит принять его.

Жюст-Аженор отставил чашку, разорвал конверт и вытащил карточку Лафкадио. Он нервно скомкал ее в руке:

– Скажите ему... – Но тут же пришел в себя. – Господин? Ты хотел сказать – молодой человек? А какого этот человек сорта?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.